

* * *

Как ни крути, а что-то теперь другое:
воздух, дыхание времени, всё такое.
Сам – длинный, как дождевая линия,
стал другим.
Только круги (на воде), круги.
Парк осенний под утро такой прямой:
вытягиваются ветки вдоль туловища:
к зиме, к земле,
как бы к себе домой.
Неловко тревожить. Обходишь.
Плехановская. Проспект революции. Просыпающийся Воронеж.
И идешь под октябрьский чудной снежок
за шажком шажок.

* * *

Первые желтые листья появляются от жары, в июле.
Первой желтеет липа
у маленького аэродрома,
земляного, живого,
где самолеты еще недавно жужжали, как пчелы:
пропеллеры – липовые цветки, небесные звездочки,
девственные соски.
*и ночь наступает внезапно
звук тяжелее запаха
сшивает тряпки моих полей*
Первый раз я подумал о собственной смерти
в пять лет, в две тысячи третьем,
в семь, в две тысячи пятом,
подумал, что можно не умирать,
стать ветром, облаком стать.
Примерно в это же время мир начал складываться в слова:
особенно нравился неуклюжий и добрый,
покачивающийся Ан-2 –
ставший праздником, солнечным кукурузником.
И тогда я сочинил:
*хочу чтобы когда умру
прах мой развеяли по ветру
с кукурузника с кукуру*
Дальше не выходило.

* * *

Над Черным прудом августовский жар,
как чья-то плоть на кончике ножа,
как белый пепел – времени равнина.
Я отпустил тебя, ладонь разжал:
о бабочка отца в ладони сына!

* * *

О том, что кончается лето, наверное, рано:
в другую, в запретную нежность, в отчаянье, в сторону Свана –
проходит, как тень, по комнатной глубине,
оставляя следы на дальней глухой стене:
фотография висела долго-долго
и цвет обоев под ней синий-синий.
Августовская ночь лучше сентябрьской.
Тепло и не так одиноко.
Слышно, как листья желтеют, как возьмется в травах жуки.
Весь август –
нежность (взрослой) твоей руки.

* * *

Закат закату, золото – полям.
Лежит река и отражает время.
Кочевники, как буквы, там и тут –
бегут, бегут
и пропадают в реку.
Нам, маленьким глупцам, на берегу,
держась за руки, – Боже нас помилуй! –
смотреть, смотреть на долгую реку
до боли, через силу.
Ты мне не верила. Ты мне сама лгала.
Тебя, как реку, тоже звали Волгой.
И бредили к зиме колокола,
и жизнь была бессмысленной и долгой.
Одним лицом мы отражались в ней –
мы выбирать не вправе –
одной свечи, одной души, верней,
земли одной в ее простой оправе
хватало нам. И повторялось все:
стой и смотри и уходить не думай.

* * *

Первые холода. Так интересно:
вдыхаешь – чуть похрустывает в носу,
как лист, не пожелтевший, но высохший,
дубовый или осиновый
в пригородном лесу.
Электричка проходит без остановки.
Полустанок пустой-пустой,
свежевыкрашенный, уже занесенный листвой.
В небо смотришь,
чудак, грибник,
как цветок придорожный к столбу приник.
Свет, спокойный и стойкий, осенний свет:
власть тирана,
толща воды,
молчания тысячу лет.
Листопад в безветренную погоду, влажный,
пахнет кровью, миром и тайной.
Никогда не пахнет войной.

* * *

Только остов зеленого быта в просторном лесу,
обнаженный, пульсирует. Здесь, одинок и безгрешен,
я синицу в ладонях, как девочку с неба несущую,
как еще не созревшую горстку соседских черешен.
Здесь подумаешь что-нибудь – скатится слово в ответ
почкой липовой или слезою, и сразу
все ясней и дороже далекий нетронутый свет –
только тянешься, хочешь попробовать на зуб.
Но во всем и всегда эта вера, непонятый быт –
довременинное слово, которое сбыться хотело.
И любовь не проходит, и небо с землей говорит,
и потеют ладони от теплого птичьего тела.